

НЕПО
КО
И

МАРГАРИТА
РОНЖИНА

Н Е П О

К О

И

РОМАН

альпина
ПРОЗА

Москва, 2025

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44
P71

Редактор МАРИЯ ГОЛОВЕЙ

Ронжина М.

P71 Непокои : [роман] / Маргарита Ронжина. — М. : Альпина нон-фикшн, 2025. — 410 с.

ISBN 978-5-00223-410-3

Роман о зависимости, творческом поиске, преодолении утраты и разрушающих силах прошлого.

Урал, двухтысячные. Поэт Сережа уезжает в горы, пытаясь излечиться от пагубной привычки, и в поисках истинной красоты записывает стихи на аудиокассеты. Его сестра Катя тяжело переживает исчезновение брата, бросая университет и окунаясь в богемную жизнь Екатеринбурга. В нее влюблен Рома — моряк на рыболовном траулере и художник, втянутый во взрывоопасный любовный треугольник.

В новом романе Маргариты Ронжиной героини выживают в пространстве больших и малых городов и ищут собственные смыслы, борясь с бесконечной душевной смутой.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-410-3

© М. Ронжина, 2025
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

Катя

Деструкция

2000, 2001 и 2002 годы

Сереза пропал, когда я еще могла кричать.

И кричала — безмолвно, безгласно. Бесполезно. Тогда я начала молчать, замалчивать, прятать себя в тишину квартиры, комнаты, кровати. Стояла посреди прошлого, сжимала в пальцах немое горе. Но разве это могло кого-то спасти?

Мы с родителями ездили его искать, а как вернулись передохнуть, наполниться надеждой, я перестала выходить из квартиры, отставила-оставила УрГУ, филфак и с ними — словоформы. Поняла ценность пустоты; в ушах как раз кончился звук.

Он закончился внезапно, как будто рядом взорвалась бомба и все отрубилось, растаяло, ушло в землю, в корни деревьев, корни людей. Люди стали отступать, да и как не отступать от девушки с тишиной в рукаве, ведь все, чего боялось человечество, было у меня, у нее, у нас обеих; лишь руку протяни.

Пустота кутала силой, обдавала теплом, уравновешивала отзвук сердца, болела, но не подтачивала меня изнутри. Не нужны: физическая тишина, вакуум,

одиночество. Не нужно оставаться в комнате, баррикадировать двери и окна, отрывать себе уши, аккуратно разрезать их по краю, сберегая хрусткие хрящи.

Через месяцы непокоя пустота стала спутником, оберегом, коконом; она стала настоящим моим домом.

В университете меня терпели, не вызывали, сначала понимающе кивали, но все больше перешептывались за спиной, советовали взять «академ». Я решила уйти насовсем, а люди вокруг и снаружи безучастно молчали, отворачивались, удалялись, качали головами и жалели меня, нищенку без половины тела, без части семьи. Подумай, Катя, соберись: легко притормозить и очень тяжело вернуться.

— Теперь и ты туда же, мало нам одной беды, да пришла откуда не ждали. И что дальше, в продавщицы пойдешь, в дворники, на завод? — родители на время остановились, замедлились. Они устали; отыгрывались на мне.

— В дворничихи, да, Катерина? — поправлял маму папа. — Ты сама головой думаешь, как кормить себя будешь, как содержать? Мы же не вечные, я всю жизнь трудился, чтобы вы учились, ты, Катерина, училась в институте. Чтобы человеком стала!

Но возвращаться, становиться человеком я не собиралась. Забрала документы.

И все закончилось, отпало, больше мне не помнилось семестров литературного праха; и ее, вины, внешне тоже не стало. Вина больше не пахла пивом, перекурами на этаже, в туалетах и на тургеневском крыльце; не стиралась прогулами с пятикурсниками

или взрослыми парнями. Я искала в них то, что найти, конечно, не могла. Вина перестала иметь запах, ук-сусный привкус возбуждения, а потому печали. Вина ушла внутрь.

Мне развязали руки; выпустили на волю.

— И как тебе не страшно у черта на куличках: маньяки изнасилюют, убьют или отправят в секс-рабство, у вас там сплошная балабановщина, только вид из окна, не кино, — Женя, подруга, пугала на все лады.

Небо дождало на рассвете, затягивалось на закате. Весна догоняла, горная грязь смешивалась, бурлила пеной на асфальте. Я уходила вслед за громоздкой тишиной улиц, трамвайным молчанием, гулом дворов, отчаянием обшарпанных домов. Лужи не сохли, распадались, но выживали — поучиться бы у них; в грязь дорог падали и падали невидимые слезы; и я слышала, как где-то рядом, в вечности, бродит Рыжий, наш поэт.

«Если в прошлое, лучше трамваем...»

Я ходила пешком.

Всматривалась в лица людей, а от меня шарахались, ведь кто же ходит по Вторчику, задрав голову вверх. Некто без страха и инстинкта самосохранения. Неместных здесь в сумерках могли отметить, обокрасть, пырнуть ножом, закинуть за помойку, за гаражи; искать потом их матерям.

Но не меня, человека с меткой тишины.

Днем я ходила по району застывших во времени пятиэтажек; они родились уже со струпьями на теле, с подвальной гнилью и жилищем-крышей для по-мойных птиц. Блуждала по району отсыревших дво-ров, что делят дети и алкаши, в местах бессмертного

странствия монохрома, сепии, в которой потеряны все остальные цвета.

Думала, читала про себя стихи, одну и ту же строчку. Потом уходила в центр, тянуло к ленинской аллее и Литературному кварталу, к пятачку за Оперным, где сидел весь институт. Я шла и не падала, пока не заболят ноги, не загудят конечности.

Иногда доходила до «жэбайки» — Жениного района; там, ссутулившись на качелях, мы пили отраву в ярких банках, делились мелочными мыслями, всем тем, для чего нужны приятели. Когда-то познакомились на подготовительных курсах в универе, но она не прошла по баллам и поступила в сельскохозяйственный. Теперь принимала меня в своих кварталах, а Вторчермет не любила, словно была глобальная разница в судьбах людей. Я же принимала ее закосы под плохую девчонку, ее эгоизм, ее черствость; никакой жалости, сочувствия в ней и не существовало, она делала усилие, спрашивая про мои дела.

И этим все больше нравилась.

В этот раз Женя угощала джин-тоником, и мы дули его, раскачиваясь лениво и медленно, задерживая внутри тепло спиртовых паров.

— Дерьмовая погода. — Грязь под ее ботинками превратилась в гречневую кашу, и она все перемешивала ее, перемешивала, до готовности. Пригорит. Я отвернулась, прикончила банку; податливая жестянка смялась без усилий.

— Скучаешь по инстику?

— Нет.

Забудь. Уже отброшен этот мертвый звук и альма-матер слёз.

Когда я поступила в уральский Гарвард на платное, то все шутила, что украла судьбу Сережи так же, как Фолкнер забрал у своего Бенджи семейный луг, продал его в оплату института. Брат фыркал: забудь свои фантазии, ведь тот герой, Бенджи, — совсем безумный, ненормальный, псих; оставь уже, отстань, не надо, никто не виноват, я же другой. Да брось, Сереж, родители боялись, что я так не поступлю; ведь ты «наш юный гений», а я девочка, никто.

— Да лан тебе. Скучно же так. Я вот иногда думаю, тип, бросить все. А потом чё, ерундой страдать? Куда работать? Замуж выйти, дак телом не вышла, чтобы пацки бегали. Моя типа подруга Маринка при баблишке, работает недалеко в стриптизе, дома только красится и телик смотрит, а я не могу, чё-та в голове, видимо, еще осталось. На квартиру копит, вещи покупает. Знаешь, чё еще там делает?

Женя легко засмеялась, а во мне засвербело. Наверное, коктейль, наверное, контрасты.

— Отдается за деньги, как интердевочка. Ну, помнишь фильм?

— Я не смотрела.

— Да как так, фильм детства, — она вздохнула, а потом ухмыльнулась, зубы у нее слегка пожелтели от крепкого чая с пятью ложками сахара. — Какая, грит, разница, давать утырку из подъезда, или бедному прыщавому однокурснику, или тут мужикам при деньгах, всего-то пузо потерпеть да перегар.

— А давно вы знакомы?

— С Маринкой-та? С детства, она ко мне привыкла, раньше мы обе не пришей кобыле хвост ходили, она нестрашная и тупая, я толстая, но поумнее,

а сейчас видишь, как вышло... Сейчас вот Мариша, Маришка. Зовет все в клуб развеяться, типа накрашу, крик, приодену, ха-ха, прираздену, потусишь, папика найдем, а то чё как лошара, мало ли любителей, а мне чё-т стремно пока.

Женя погрустнела, закачалась сильнее. Скрип качелей убаюкивал, голова откинулась назад, я смотрела на белесое небо; желала лишь улететь.

И тогда все равно я продолжала подначивать брата, вредить, но за месяцы и годы часть луга подвыщвела, подрастеряла былую остроту, а очарование рассеялось; теперь Сережа-Бенджи не скачет по траве; его здесь вообще нет.

— Ну а так, типа, подумать, что мне этот институт? Куда дальше? Что делать? Зарплаты видела? На еду и прокладки, за газ, свет, чё там еще есть, заплатить, погулять раз-два в месяц, а если жить негде, снимать еще. Ни отложить, ни в отпуск сгонять, ни в «Мак Пик» сходить. Ай забей. Тошно-тошно-тошно. Бли-и-ин.

— Ну.

— Хорошо забрало. Будешь еще одну пополам? На.

И через минуту:

— Мы тут кочевряжимся, осуждаем. А мож того, потом окажется, что эт Маринка нас всех умней?

Я откинулась еще дальше, так, что, если еще немного, разломится позвоночник, стукнется с той стороны голова и покатится, свободная, вниз.

— Будет прикол.

Нам слишком тоскливо здесь жить.

Женя и притащила нас в киноклуб «Посторонним В», прохрипев что-то про рутину и совет парня,

который не вылезает из «Люка», адеграундного клуба с фейс- и даже культурным контролем.

— Там показывают артхаус, ну типа странные такие фильмы, да и вообще ходим проветримся.

— Только ко мне не приставай, не понравится — уйду.

— Без бэ, без бэ, — подняла руки Женя.

Популярное место: дом писателя, двухэтажное эклектичное здание с массивной дверью, полуциркульными арками на окнах; расслабленная публика, шлейф интеллектуального безумия.

— Ну что, уходишь? — засмеялась. — Остаешься? То-то же.

Когда загорелся экран, Женя раскрыла сумку — две блестящие банки.

— А кино?

— Кино это смотреть не мешает. Даже помогает.

— Сигарет, жаль, нет.

— Наплела мамке про распечатки, всякие сборы на учебу. Деньгами разжилась.

— Сигарет бы найти, — шепнула я и, пока Женя прихлебнула джин, вышла из зала, потом на крыльцо, вот так, как была в тонкой кофте.

Старушка на входе-выходе крикнула:

— Околеешь ведь, чай не лето.

Желание курить сильнее любой простуды.

— Травимся, значит, — я уже хорошенько захмелела и не выдержала, рассмеялась. Двое худощавых парней дернулись, обернулись, угостили. Вот не доброе слово, а сигарету — убивающее зелье — всегда найдешь. — Спасибо.

Во рту горчило, руки пропахли какой-то жженой резиной, а эти люди что-то говорили, так что я поскорее сбежала. Когда вернулась на место, Женя продолжила, будто все время во рту держала и напиток, и слова; не подавилась бы.

— Учеба для нее святое. Она, наверно, на мое здоровье бы не так охотно деньги давала, как на что-то для вуза. Вуз же, блин. Самое важное. Вот он мой вуз, и у тебя в руках тоже. Плещется.

Зашикали сбоку и сзади. Женя как-то грустно умолкла, еще больше сгорбилась, допила и тихо заснула банку под сиденье, привалилась к моему плечу. Она смотрела вперед, но не на черно-белый фильм, а на модно и расслабленно одетую девушку, сидящую наискосок на два ряда впереди.

— Денег хочется, понимаешь, — пьяно, совсем душевно зашептала она, — побогаче жить, чтоб пейджер, да чё там, кофточку, джинсы, сумку купить и не на Таганчике на картонке мерить, а в магазине и чтобы бренд, и на цену не смотреть. А маме скажешь: хочу, а она — дак у тебя же есть, уже есть одна, еще нормальная, вот и носи. И так дурачки: идет показывать мне мою же вещь, как кошку в молоко носом, «смотри, сука, смотри!» разве что не говорит. А ничё, что кофточке лет пять, немодно и видно это, так стремно. Ей не понять, что хочется красивое!

— А зачем?

Она отшатнулась, как будто ударили, села ровно.

— Ага, ничё ты не поняла, тебе с фигурой повезло, что угодно надеть — будет хорошо. Все, забей, проехали.

Ее руки упали на колени, на пол. Но сломалась я. Давно уже. А может, сразу сломанная и родилась. Ни денег, ни вещей, ничего мне не хотелось и даже захотеться не могло.

И как-то так сдружились.

Я набрала печатных друзей-философов и вот ее, подсевшую на жестяные банки, химозные коктейли, девчонку. Прилизанное, приличное общество вдруг не стало прочным и логичным выбором; у близкого девичьего круга оказалась своя жизнь, которая теперь мне не давалась. Я в основном молчала, берегла клетки, а Жене можно было почти не отвечать, она одна напрочь заполняла пространство собой; и ерундой.

Тогда дом опустел еще раз, я научилась управлять тишиной, стала уносить-выносить ее с собой, провернуть, погулять.

— Ох, как хорошо сидеть на нашей с мамой шее. Шляться, курить-закуриться, чего-то там философствовать, искать смысл, или что ты там ищешь, ладно хоть читать не разучилась, пока тебя кормят, поят, одевают, пока спишь в своей отдельной комнате. Куда опять, Катерина?

Они еще не осознали, что теперь я их единственный ребенок, опора, сцепка для семьи.

Пока визжал студеный мартовский ветер, я и Женья раз в неделю наведывались в киноклуб, выпить под авторское кино, но ближе к лету все больше гуляли, выбирая скамейки поуютнее, поукромнее. Говорили мало, слушали музыку, она раз за разом рассказывала

про Марину, истории из дома и с учебы, я читала стихи — странная мы парочка, — пока подруга не попросила притормозить:

— Кать, не обижайся, завали, а у меня и в инстике хватает чтения. Такая тухлятина. Лучше выпьем, деньги есть?

Оказывается, она тоже что-то читает.

— Голяк, а у тебя? Я не беру у родителей.

— Блин.

— Хочешь выверну карманы?

— Да чё ты начинаешь. Ох-х, все скука такая. Общаться не с кем: ты, Маринка и сестра двоюродная, да и та редко приезжает.

— А хобби? На танцы, на кружок какой-нибудь, что-то же есть в универе. Ну что-то новое.

— Деньги нужны, да и форма не клевая, не, в обтяге мне стеснительно, будут смотреть, типа корова пришла. Надо сначала похудеть, а потом идти.

Не с таким количеством алкоголя. Но кто бы говорил — сама я ела мало и могла сосчитать кости на бедрах.

Женя вздохнула и долго смотрела на воду — мы сидели на корнях ветвей в дендропарке, приминали собой землю и зелень.

— А вообще я с парнями гулять хочу, влюбиться, попробовать, ну, эт. Я, блин, даже не целовалась ни разу.

— В кого?

— Да уж в кого-нибудь, — разозлилась Женя. — Мужского пола, как будт много вариантов. А то как старушка. Тебе разве не хочется сососаться, пообниматься, повеселиться... ты же раньше с тусовок

не вылезала, а потом, ну я понимаю, но все равно, черт, голубь прям на банку насрал, ты это видела, видела? Черт.

Ха-ха, карающие крылья, голубиный бог.

И продолжалось лето, время длилось-длилось: беседы о скуке, о внешности, под алкоголем, бродя по улице, стоя в подъезде, в киноклубе — ведь денег нет, ты только дай запить тоску.

— Там какой-то странный парень на тебя смотрит, у двери, — толкнула в бок Женя.

Я оборачиваться не хотела, но она все толкала и толкала. Обычный, непримечательный, просто одетый, в какие-то штаны и свитер в клетку; сигарет у такого явно не было.

— Ой не, такие парни-клетки в основном тихо работают инженерами на заднем ряду жизни и женятся на тех, до кого смогут дотянуться, — шептала Женя, набравшись от успешной Маришки.

Инженер на заднем ряду жизни. Обычно с такими можно построить крепкую тихую семью, но осторожно, может затянуть; если бы ее еще кому-то хотелось.

— Не знаешь? Да забей, давай выйду с тобой покурить.

— Я тут эта, — замялась уже на крыльце Женя, — с Маринкой договорилась в баню или, чё там, сауну поехать.

— С мужиками?

— Да ну чё ты, — смутилась она. — Посидим, ничего такого, я просто за компанию, заставлять не будут. Ты меня сразу записала... Я пообщаться, может,

хочу, встретить кого. Не все же с утырками встречаться, в «Эльдорадо» на дискачи гонять.

— В сауне?

— Да какая, блин, разница где! Я уже от этой хандры бадяжной помереть хочу.

— Ну.

— Чё ну да ну. Морду попроще. Вот веришь, нет, жить не хочется, чтобы так, как мама — дети, посуда эта сучья, вечно грязная, пол, стирка и глажка, работа и работа. Мамка-то моя, прикинь, думает, все хорошо, считает, что состоялась в жизни, ну да, эколог, важная такая профессия, важная, ага, перспективная, за копейки, дети, тип, пристроены, мелкий еще в восьмом, я говорила. А я на нее смотрю и думаю — что это за чужая уродливая тетка меня родила?

Она отвела взгляд. Самой было стыдно, но перебороть не могла?

— И чтобы так лямку дальше тянуть, ну не-е-е. И такое унынье, чернота, вот прям отсюда, из сердца, хочется бежать куда глаза глядят. Вот кем угодно быть, чтобы только не это.

— Сколько ты банок выпила?

— Да задрала, нормально все. Сладенькое, легкое, фигня. В тоске, короч, выхожу во двор, тебя вспоминаю, что взяла и порвала со всем. Ушла в никуда. Взяла девка и решилась.

И скоро будет жить под забором.

— Дело твое, — я затушила сигарету, и мы пошли назад, — будь осторожна и, блин, много не пей. Тебя вставляет быстро.

— Дело мое, да, да, только мое, понятно! Не лечи меня, а, святоша.

А кто говорил про маньяков? Те, что внутри, теперь не страшны?

Я отдала ей недопитую банку. Женя отвернулась. Кино смотрели молча, она гордо хлебала из жестянки, мне снова мучительно хотелось курить и курить — закуриться бы досиня, — и где-то сзади на лопатки глядел и глядел парень Клетка.

Всю осень мы с ней пересекались мало, я ходила в библиотеку за новыми мыслями, заталкивала их в себя, чтобы забыться, Женя разгоняла бедность. Права, она, права, тоска, хоть вешайся, но тоска фантазий лучше остроты реальности. Сережку еще ищут или нет? Поехать бы самой куда глаза глядят, но маму жалко.

— Погоним на новогоднюю вечеринку? — бодро объявилась Женька. — Ребята из моего вуза собираются в общежитии, я сказала про тебя, гряд, давайте вместе.

Там будут вопросы: где учишься, как живешь, что ты, кто ты; а хуже — если нет.

— Давай.

— Попробуй хотя б повеселиться, а? Ну, Катък.

Новые растянутые нотки.

— Увидимся.

Женя приволокла пару бутылок коньяка и сок, я закусу — просто мамин салат и блины, что за привычка готовить, если никто почти не ест. Пусть едят вечно голодные, а значит, живые.

Мальчишки пили водку и пиво из кружек и стаканов, девочки замешивали коктейли в грубых бокалах,

кем-то принесенных из дома. Шумели разрешенной частичкой этажа. Я впервые с *того самого* оказалась в компании людей; подкрасила черным глаза, ходила по открытым комнаткам, привлекала внимание и под «о, познакомимся, садись сюда» говорила с одноклассницами Жени и, возможно, с ее бывшими минутными увлечениями; гудела здесь вся параллель.

Кто-то голодный чавкал и мычал, поглощал мамин салат так, что горошек летел на пол. Какой-то парень и чрезмерно надушенная девушка целовались на кровати за моей спиной, я бы тронула их, протянув руку. Надо же, поразительное умение чего-то, кого-то хотеть отстраняться — будто они лежали одни в темноте и за закрытой дверью; пока мир вокруг только и делал, что кружился, люди повально дышали и пили, и весь воздух превратился в упругий жар.

Кричали в потолок, всем и никому, как тут уловишь смысл. Четырехсторонняя атака, давление; лишь успевай закрывать голову.

— Что такое человек? — справа, парни на полу.

— Как открыть вино? — слева.

Сзади любители влажных касаний, спереди на кровати Женя в девчоночьем кругу. Хорошая общажная вписка; собираются люди, о чем-то говорят — лови настроение, лавируй словами, включайся, включай. И можно раствориться. Как будто больше не одна.

— Ну кто, кто же такой «человек» по-твоему? Не все так просто, тысячи лет бьемся, начиная с Платона, а ты...

— Да ладно, я родился, и все, я уже человек. Нет никакой комиссии. Если я хомосапиенс, значит, у эволюции все получилось, называйте меня человеком.

Правда в том, что человек — говно. Примешь — проще будет жить. И тогда, чтобы не обесценить это понятие, можно говорить о ситуативном человеческом поведении. Оно может быть у любого.

— Кроме тебя. Хер там плавал. Не переворачивай все вверх дном. Видали.

— Бутылку? Мальчики, у кого штопор есть?

— А что видали? Давай так, вот бомж — это человек? В биологическом отношении — да. Но уважаешь ли ты его за поступки, равняешься ли? Нет. Ты и не думаешь о других, сидишь, сосешь пивас, сосешь Наську, тебе хорошо. В институте учишься, телики чинишь. И ты человек? Но на деле ты не лучше бомжа. И не хуже. Хотя, может, и хуже, если смотришь сверху вниз.

— Разбить о голову кому-то вино? Сколько я с ним ходить буду, а выпить-то хочется.

— А у бомжей, стало быть, нет зависти, нет чувств.

— Попробуй пальцем вдавить вниз.

— Многое на выживание тратится, чистая физиология, чистый ресурс.

— Ну, может, у них, эта, свои бомжовские мерки. Не знаю, например, у кого коробка красивее, место на теплотрассе потеплее, хлеба побольше, — хрюкнула Наська и засмеялась.

— Вот. Настю мы уже потеряли. Сочувствую.

— У кого есть чистый палец?

— Так-так, давай назад. Каждый человек — и человек, и нет, ты хочешь сказать?

— Я, блин, уже не знаю, что происходит, пробка застряла и дальше никак. Может, саблей?

— Гранатой, аха-ха.

— Ну, обезьяна не человек, но человек может быть обезьяной.

— Короче, я просто расковыряю ножом это пойло.

— А полтела — это человек? Полмозга — человек? В животе эмбрион или человек? Убийца — человек?

— Да подожди ты.

— Пойду поссу.

— Спросим у соседей. Дай сюда бутылку.

— Ха!

Меня задели какой-то потной частью тела, я отпрянула, поднялась.

Есть ли разница, где философствовать: на грязной кухне и четвертинке комнаты в общежитии или в дороге, направляясь напрямиком в другую, просолено-морскую, жизнь? Есть ли разница, что видеть вокруг, если внутри непроглядная темнота? Как он там, наш третий, Ромка?

— Катька, ты куда? Не теряйся давай.

Нам всем, особенно Жене, ответит Маришка, девушка с грязным домом и чистой душой. А я поизучаю окрестности, спертый дух на этаже, полуподвальную темень, плесень на плинтусах, обломки штукатурки. Пиво, осколки, бутылки, бычки и заплатки на совесть.

Хочу покурить.

А в дальнем конце этажа: звуки, трели инструментов, вой под гитару. Одиночество и голод. Не пробудившиеся пока Маришки. А нет, они в другом крыле, там мне не место.

Шагала дальше медленно, держалась за шершавость стен. Остановись, момент реальности, не переходи в затяжное безумие. Кадр шатается, один, два — стоп.

Встала рядом с туалетом, ощупала карманы — вечно я на сигаретной мели. Сползла по стене на корточки; отчаяние прибывало все ниже, хоть ложись.

— Эй, ты в порядке? — некто ухватил за подбородок и легко поднял до уровня своего лица. Глаза зеленые, большие, на загорелом лице, а больше ничего.

Не надо было на голодный желудок вливать в себя «Кровавую Мэри».

— Есть курить?

— Давай угощу... Затягивайся и поддержи, не выдыхай.

— Что это? — поперхнулась я, закашлялась; с непривычки горчит.

Он только засмеялся, назвал себя Сеней — а друзья звали Сенем — и протянул мне самокрутку табака: попробуй снова, вдохни, вдохни.

Так вот где пряталось спасение.

Он жил в другой общаге, там в комнате стояли двухэтажные кровати, столы и табуретки. И я стала там оставаться на ночь, вмещаясь с ним на полуметре второго яруса; бедный наш сосед.

Сеня, кудрявый, веселый, смуглый и очень красивый, витал не в облаках, а где-то выше, в иных сферах, и эти полукружия придавливали его веки, так что глаза открывались лишь наполовину.

На учебу он не ходил, но как-то числился на пятом курсе, писал диплом. Недешевые свои вещи сваливал на пол, в угол. Потом туда же отправлял и меня. Играл на гитаре, мы курили в потолок, а потом вставали, чтобы покурить еще раз. Он рассказывал о море, о возникновении Марианской — и марсианской — впадины,

о космических кораблях, о том, как в детстве его похитили инопланетяне, отвезли в рай, а потом вернули. Как выглядит рай, он не помнит, но умеет чувствовать — где-то там есть лучшая жизнь, а эта — лишь грязный, вонючий презервативный тоннель, воняющий кровью и потом.

В моменты предельного единения с раем или энергией солнца он раздевал меня и трогал; начинал играть на своем инструменте, петь что-то нечленораздельное, танцевать голым — бедный скромный наш сосед; нижняя часть тряслась под гитарой, приминалась, взбалтывалась, вверх-вниз. Я хохотала так, что, казалось, забыла о существовании ада.

Ему нужен был слушатель фантазий. Мне — паяц без предрассудков. И какое же это оказалось удовольствием.

— Взорвется что-то типа Кракатау, или еще хуже — Йеллоустоун, и всем каюк. А я чё, брал от жизни все, малышка. Брал, беру, иди сюда.

Он планировал покорение космоса по фильму «Космическая одиссея 2001 года», любил свободных людей и ненавидел общество, странным образом соединял в голове невероятное количество фактов. То хотел жить настоящим, то считал будущее основной своей целью. Делился, как полетит на корабле в неизвестность и тогда его глаза будут плакать истинным светом. Впрочем, так заканчивался его любимый фильм.

Естественно, Сенины родители были богаты, а его самого ждала квартира у Плотинки, недалеко от Дома Севастьянова, и должность в фирме отца. Но пока он мог разбрасываться словами, жить в коробке, в круге,

треугольнике, в любой фигуре с углами и без; или ловить кайф под жарким открытым небом.

— Живу где хочу, хоть в ящике. Но я свободен.

— Ты похож на курчавого барашка из «Маленького принца», который сидит внутри коробки и иногда, неловко озираясь, выходит на свет, — смеялась я.

— Постой! А кто там в бочке жил?

— Диоген.

Сеня воодушевился, поднялся, начал оглядывать скупое пространство студенчества — без выбора уже аскетизм — хотел прикинуть инсталляцию с самим собой.

— Я бы сделал большую банку супа «Кэмпбелл», как у Уорхола, и играл бы внутри.

Когда наохотались, он сел, подтянул меня на пол, приобнял за шею, сжал пальцы на горле, тихо прошептал:

— А я бы мог, все мог.

С его друзьями я познакомилась почти сразу, как стала ночевать в каморке безумного веселья. Сеня специально ничего не делал, втягивал в свои сети наскоком, один раз примерял к компании, а там уж как пойдет. Видимо, меня приняли.

И мы зависали, подвисали на коллективных домашних — народ на пуфиках вповалку, всмятку — кинопоказах, музыкальных вечерах, посиделках-полежанках, бурных разговорах. Валялись у Сени, переплетали руки и ноги, а потом, спохватившись, выуживая немятое из горы тряпья, переходили в двушку с высокими потолками, где собирались молодые творческие

ребята, богема ночи, критики целого века — интеллектуальная нечисть нового времени.

Больше всего меня интересовали знакомые, учившиеся на философском или живущие в потоке постоянной мысли. Там разговоры сами по себе воображались как субъект, объект, искусство, живущее мгновение. Презируя границы дозволенного, они говорили, что думали, почти не фильтруя речь. Впервые я ощущала объемную силу разговора, энергию действия, некую бредовую, но обаятельную коллективизацию сознания.

И теперь я ждала те сладкие часы в потустороннем мире; хотела внимать неназванным философам и отдавать. С ними хотелось показать себя. Словно я, наконец, обрела человеческие уши. И отрастила свои назад, пусть и временно. Я сократила сигареты до двух в день, раньше бы иссохлась в первый же час, почернели бы — расчертились тьмой — легкие, а сейчас что-то другое стало важнее.

Этой ночью мы лежали в пространстве из подушек, на диване и на полу; глядели в экран, где мелькал фильм Соловьева. Сеня прижимался ко мне, обвивая шею, на которой уже наставил засосы; мама подумала бы, что меня покусал укурок-паук, а жало его размером с мужской открытый рот.

Кто еще здесь с нами? Рыжий мальчик с пачкой чипсов в продолжении руки, худощавый и прыщавый, но голос — как у оперного бога. Девочка с золотом в кудрях, улыбка с запахом бензина и дорогих духов. Полный Малыш, серьезный, строгий, образчик морали — тайный вуайерист, про всех вел дневник.

Первый и начал разговор.

— Друзья, вы знаете, что Ленин — гриб?
— Аха-ха, вот ты дурак.
— Бородатую шутку выкопал. Тут этим не удивишь.

— Харэ, достали, а, развели тут эту, как там, скажи-я-скажу, *платоническую проституцию*.

— Там пел Найк Борзов. Ты знал? Но группа почти неизвестна.

— А ты зануда всех времен.

— Лимонов, панк-рокер литературы и души моей, что говорил? Что музыканты тупые и типа только один Курехин из них умнейшим был.

— Да этого Лимонова с газетенкой закроют скоро, зуб даю, запретят. И книжки читать не собираюсь.

— Ленин — гриб. Ленин — гриб. Ленин — гриб. Я тоже гриб.

— Да чё все Курехин и Курехин? Кура-куку. Я так закукарекаю. Писаются с вашего Курехина все, надоели, а? Еще Ревякина доставайте или Летова, а нет, знаю, прям Цоя, на сотый раз обсудим. А? Нечего сказать. То-то.

— Добыть бы винильчика, послушать лебедев-фронтовский «Веприсуицид». Вот забытое так забытое.

Из телевизора: «Ты что, ты что, с ума сошел?»

— Я что вспомнил, он, кстати, назван был в честь неизвестного фильма — «Вепри суицида», там самолеты и чувак убивает себя, а так ничего интересного. Как там это понятие называлось, н... н... Помогайте, эй!

— Дурка?

— Гриб знаете кто? Гри-иб? Кто гриб? Правильно, Ленин — гриб.

— Человек или творит, или разрушает, так Рерих говорил. В том числе себя.

— Верно.

— Но если у нас есть право творить, заниматься чем угодно, в рамках закона, то вот вопрос: есть ли у нас право разрушать себя? С точки зрения человека-индивида, да, а если человек — участник системы, если у него семья и дети... Он продукт их коллективного представления о себе или же имеет некую степень свободы?

— Что жрете, грибы? Завязывайте уже...

— Ленин — гри...

«Ну какой же это эротический шок».

Кто-то вскочил на ноги. Будоражил «Нежный возраст».

— Я знаю! А к концу вечера мы включим Тарковского, дружно подрочить, взявшись за руки. Ну и потом, конечно, уйдем в закат под музыку Курехина.

— Да заткнись уже.

— Мы тут на той неделе кинчик четкий глянули, про чернокожего художника и этого, ну того, кто суп и бабу все рисовал.

— Ты мозг в этом супе забыл? В гостях? У Ленина?

— У Энди Уорхола, под париком, ха-ха. Заплесневел.

— Точняк, Энди его звали. А второго Баския.

— Про новое и страшное, ребят, я тут почитал «Шатунов» и чуть не ебнулся.

— Что? Выражайся нормально.

— Аха-ха, тут такое дело, Тася, что это самое корректное обозначение сего факта, дорогая моя Тасюня. Сам мужик-писатель Мамлеев не то что ебнулся,

но и заставил ебнуться меня, потом взял за руку, довел до нужного места и засунул мою голову в мясоруб...

— Это я так Сорокина как-то читнула...

— И самое поганое, что после этого фарш он обратно так и не собрал. Сижу я с этим метафизическим злом в голове и двинуться боюсь.

— Тьфу на тебя.

— Аха-ха, такое лицо, вспомнил, как Мамышев-Монро рисовал и переодевался под Монро, ну, Мэрилин.

— Да-а, мудро. Умеет чувак.

— Петь, рисовать и веселить, трам-пам-пам. Уорхол тоже Мэрилин любил.

— Танцы на костях. Сколько людей зарабатывает на вознесенных мертвых, следите, цепочка из хрящей: рекламщики делают деньги на Уорхولة, он — на Монро, а бедная ЭМ использует тело, много пьет и пытается справиться с психическими расстройствами, навязанными обществом, которое ее потребляет.

— Чем вам так Монро нравится?

— А я-то в общем говорю. Не про ЭМ и даже не про блондинок, и не про женщин. Только люди и двигают культуру, не политика, не общество — отдельные люди, те, кто создает новое, и те, кто их поддерживает. Вот щедро и множат идолов, эйдосы — идеи по-платоновски. Если не будет таких людей, нам всем кирдык, Тася.

Замолчали все, тихо думалось о вечном, тихо курилось. Я размышляла, умнее ли философы с сознанием, оторванным от бытия, простых людей?

— А вы знаете, что есть фото — Курехин с Уорхолом, вернее Энди держит Куре...

— А-А-А-А-А-А-А!

Давайте выгоним из города поэтов. Они — эмоции, они нам не нужны.

И почти всё, кроме главного, какое-то время держалось, плыло по течению. Сеня загорался мгновенно, поджигал всех вокруг, вспыхивал и какое-то время горел. Но без огня нет веселья, сплошная труха.

Он все так же трогал меня, в комнатке и при людях, душил в объятиях. Однажды на встрече с друзьями он отделился от моего тела, долго болтал с новенькой девочкой, чьей-то подругой, а через час уже целовал ее в ванной.

Громко сказал: ну что поделать, я так хочу. А я? И все перед друзьями.

— Останься, детка, тебя утешут, нам было круто, ну теперь мне нравится она.

— С кем не бывает, — его друзья сочувственно налили, — сейчас расслабит. Это же Сеня, он течет, перетекает, как вода.

Может, я и хотела отказаться, но не могла. Я лишь просила: ребята, не слишком много.

— Тут пипец творится, ребят, самолет захватили, — издалека, испуганно-полувосторженно прокричал кто-то высоколобый.

Я вслушалась, всмотрелась в новости, остатки зримого. Может, Сережка там, примкнул к другой стороне, может, он — бородатый, безлицый, безволосый, переодетый под смертника, смертницу — призрак? Оглядываться страшно. Ведь посреди ужаса, что

странно, люди не могли унять улыбчивые, неверящие рты. Меня парализовало.

— Эх ее торкнуло, совсем с катушек слетела, эй, ты, все в порядке, эй? Ты чё-то выглядишь плохо, копыта откинуть решила, такого нам не надо, эй, эй? Ты чё разлеглась, и бледная жуть, ребят, она ж бледная, да, не глюки, не глюки?

— Эй, вставай, нехер на полу валяться, кто-нибудь помогите поднять, эй, эй, пошли на диван, да чё она как куль с мукой, давайте переложим, не хочешь, чё, тебе на полу хорошо, ну и хер тогда возиться, бросай ее.

Черное сменялось серым. Сначала темный звук, потом, возможно, явь.

— Чё там, с самолетом-то, освободили? — спросил кто-то из парней.

В уши проникали новостные поставленные голоса, что не ведают горя; какая им разница, о чем сообщать.

— Н-но, спецназ, убили кого-то из стюардесс вроде и террориста.

— Сто шестьдесят человек на борту, прикиньте, если всех разом, — добавил протрезвевший женский голос. — Хотя на войне больше погибают, но почему-то мы так устроены, что вот это трогает больше, запоминается сильнее. Еще с детства так у меня было.

— Может, потому, что мирные жители, обычные пассажиры, как ты и я...

Еще немного сна.

Очнулась — резко выдохнула. И начался путь без движения, я не вставала, даже не двинулась. А когда сознание сконструировало подобие тела,

включило-подключило звук, боль и запах, я застонала и перевернулась на бок, не то бы задохнулась в рвоте. Чертовы уши. Мне не убежать от слов, не убежать.

— Нифигась тебя забрало. Я думал, подохнешь. Прилипла к полу, чё-т бормочешь, не отдерешь.

Кто-то стоял надо мной, но глаза не могли сфокусироваться.

— Меня что, побили? — отплевывалась и откашливалась, пока могла удерживать голову на весу, недолго.

— Нехило перебрала. Вот и унесло. Перебор, ничё, бывает. Тебе б помыться, воняешь жуть.

Невыносимо чесалась шея, что-то ранее бывшее во мне вышло и коркой налипло на волосах; детали недочеловека.

— Спасибо, я еще полежу и уйду.

— Аха, да-да-да-вай.

Слышно было как он затягивается сигаретой. Как ходит. Внутри подрагивало, теребило нервы, и я хотела встать, встать, вот сейчас, смогла, смогу, но отключилась.

— Эй, подруга, пора.

Начало темнеть, как я сходила в душ, как могла — что увидела — прибрала за собой. Немного вернулась к человечности, человекоподобности, но не женскости, нет, даже смешно. А ты так похудела. Почему же, почему.

— Ну, я пошла. Извини за все.

— Бывай.

Большая хорошая квартира. Внутри — белоснежные стены, импортные вещи и вещички, вполне культурные люди. Снаружи — каракули весны. Надписи,